

Александр Етоев

ЖИЗНЬ ЖЕ...



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Предисловие автора

Книжка разбита на три раздела.

В первом сочинения новые.

Во втором разделе – старьё. То старьё, что дорого мне по-прежнему. Я его немножечко подлатал. Немного подновил оболочку. Чтобы не лезла моль, и пыль чтобы не щекотала ноздри. Сейчас бы я такое не написал. Но тогда, в восьмидесятые годы, опьянённый новыми перспективами и утомлённый злобою дня, я верил в мечту о том, что человек – не мыслящее животное, а некое связующее звено между двумя мирами – миром благородного будущего и несовершенного настоящего.

Раздел третий – сочинения детские. Но не в том смысле, что для детей – потому что, когда писатель начинает сочинять для детей, он превращается из человека в гомункулуса,

который должен ходить на корточках и изъясняться наивными оборотами – иначе дети его якобы не поймут. А в том смысле, что про детей. То есть сочинения жизненные, только герои в них дети.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АКУАКА

Папа читал «Акуаку».

Мама маникюрела ногти.

Если растянуть глаза в стороны и одновременно растянуть рот, то папа на тебя посмотрит и скажет: «Похож на полинезийца».

Мама скажет: «Хватит придуриваться. Или хочешь остаться таким на всю жизнь?»

Может, и хочу, я не знаю. Тогда хоть кто-то обратит на тебя внимание. Скажет «идиот», засмеётся или ударит в морду.

В жизни мало весёлого.

Вот я. Когда я смеюсь, то не оттого, что мне весело, а оттого, чтобы думали, что я такой же, как все.

Отчего люди смеются? Например, папа. Прочитает в своей «Акуаке», как акула проглотила кого-нибудь, и смеётся, пока не одеревенеет. Про акулу это я знаю, это папа говорил сам, не мне,

маме, мама не понимала, и он долго ей объяснял, почему это смешно, она тоже стала смеяться, то ли поняла наконец, то ли чтобы не показаться душой.

Мама смеётся не так. Не как папа. Не так, как я.

Вот как она смеётся. Сперва наморщит кусочек лба, потом раздвинет немножко губы, потом мигнёт глазами тебе в глаза, потом вообще непонятно что, потом как дёрнет вверх хохочущими бровями, и ты уже не можешь держаться и пробуешь делать то же, не получается, она помогает, она хохочет, и ты пытаешься. Жаль, что это бывает редко.

Чаще она почему-то плачет. Особенно когда на кухне одна.

Сидит на кухне, смотрит на язычки газа, как они облизывают кастрюлю, а слёзы из глаз – кап-кап.

«Мама, – я её спрашиваю, – что у тебя болит?»

«Душа», – говорит она и больше не говорит, молчит – молчит и гладит меня тихонько по голове.

Папа мой вообще-то простой, как чайник. Его нагреваешь – он закипает, остывает – он успокаивается.

Папа помешан на политике и футболе. «Путинский режим», «партия жуликов и воров», «марш против подлецов», «Аршавин, врежь им!»...

Сидит в «Фейсбуке», брызжет слюной в экран, потом бежит на кухню, попьёт воды кипячёной, бежит обратно и снова лицом в экран. Или в телящик смотрит до посинения, орёт как резаный, когда какой-нибудь из этих придурков забивает мячик в ворота других таких же придурков.

Мама говорит ему: «Ты с ребёнком лучше б в кино ходил, а не тратил нервы на всякий пустопорожний шум», – а он ей: «Я за судьбу России болею, а вот на таких равнодушных людях, как ты, держится кровавый режим». – «Чем же он кровавый?» – спрашивает мама зачем-то, знает ведь, что папе что-нибудь скажи поперёк, он потом полдня будет булькать, как масло на сковородке.

Последнюю неделю мама с папой не разговаривают. Так, помалу: «Чай будешь?» – «Буду». – «Хлеб купи, когда домой с работы пойдёшь». А в среду вечером, я уже почти засыпал, они на кухне громко друг на друга кричали. Они и раньше ссорились, не без этого, но чтобы так, как это случилось в среду, – я ещё не слышал ни разу. Я хотел пойти спросить, что такое, как вдруг сильно хлопнула дверь на лестницу, кто-то вышел, минут через пять вошёл, я узнал шаги, это мама, она легонько отворила дверь моей комнаты, я закрыл глаза,

задержал дыхание, чтобы мама думала, что я сплю, она склонилась в темноте надо мной, и я почувствовал горький табачный запах. Мама, я знал, не курит, я ни разу не видел, чтобы она курила, почему же тогда табак? Она стояла так и молчала, лицо её скрывалось в тени, и в рамке света, идущего из прихожей, её склонённая надо мной фигура была похожа на нестрашное существо, которое я вижу порою, просыпаясь посередине ночи. Я его зову Эйтыкто. Только это нестрашное Эйтыкто всякий раз, замечая, что я не сплю, улыбается мне тихой улыбкой и исчезает непонятно куда, будто растворяется в воздухе. А мама стояла возле кровати и дышала табачной горечью, не улыбалась, не поправляла сползшее одеяло, и, если бы не её дыхание, я подумал бы – она умерла.

Я часто представляю себе их мёртвыми, папу и маму. Вернее, даже не мёртвыми, а ушедшими однажды из дому и не вернувшимися ни к вечеру, ни на завтра. Я представляю, как я хожу по комнатам, хочу позвонить, но не знаю ни куда, ни кому, потом звоню, трубку снимает бабушка и начинает по-дурацки со мной шутить. Типа, надо мыть руки перед едой, а перед сном – ноги. Не перепутай, говорит он мне и смеётся. Я хочу рассказать о своём несчастье, но он опять смеётся и загадывает одну из сво-

их загадок, которые всегда всем загадывает. Слово, в котором семь раз встречается буква «я», говорит он мне, ну-ка, скажи какое? Я знаю это слово – «семья», – но стоит мне произнести его вслух, как мир взрывается в моей голове и уши наполняются шумом. Плач мой гасится смехом бабушки, в трубке коротенькие гудки.

Я знаю, почему они ссорятся, – из-за меня. В школу меня не взяли, сказали, что отстаю в развитии. Это не мне сказали, мне вообще не говорят ничего, только таскают по докторам да гробят меня лекарствами. Моя б воля, я бы всех этих докторов с лекарствами послал туда, куда суп идёт, когда в череп человеческий попадает.

Да, я плохо считаю, особенно когда надо складывать числа с нулями, потому что ноль для меня ничто, просто дырка, через которую подглядывает за мной чей-то белый, холодный глаз, и мне от этого становится холодно. Зато я знаю, как красиво и умно устроен арбуз.

Ещё я знаю, и, думаю, кроме меня, этого не видел никто, что звёздочка в созвездии Ориона, та, что с самого краю, левая, на самом верху, это если смотришь с балкона и небо не закрывают тучи, вдруг отрывается от других и летит к тебе чуть ли не на ладонь, правда, я почему-то

жмурюсь, если она подлетает близко, а когда разжмуриваю глаза, она снова там же, где и была, только не такая весёлая.

Про арбуз смешная история. Одна девочка, это было на юге, съела арбузное семечко и превратилась в арбуз.

Тоже был случай, бабушка – она была уже старая, но ещё живая – хотела резать арбуз, а он вдруг как задрожит! У бабушки рука с ножом опустилась, так ей стало жалко его.

Моя бабушка всех жалела, папу особенно. Вечером подойдёт ко мне и начнёт папу жалеть – что сын у неё хороший, и я у неё хороший, только папе с моей мамой не повезло, и хлеб она салфеткой не накрывает, и в раковину картошку чистит, и говорила она папе, одумайся, не твоего она сада яблоко, а он, упрямый, не послушался, поженился. И слёзы по морщинам текут. Я ей говорю, что я сплю, и когда она папу вот так жалеет, то по моим бровям кто-то ползает. А ты смахни, говорит она, и дальше спи, я и тебя пожалею.

В школу меня не взяли, но учительница ко мне приходит. Это такая женщина, она рисует на бумаге фигуры и после долго меня допрашивает, круг это, квадрат или что другое. Думаю, она просто дура, если спрашивает такие вещи. Я ей тоже нарисовал фигуру, так она

закипела, как макароны, и побежала на меня маме жаловаться. А я всего-то нарисовал себя, как я сижу в темноте в углу и у носа моего летает муха.

Взрослые – люди неинтересные. Несут всегда какую-то ерунду, даже если разговаривают друг с другом. Со мной – понятно, со мной им говорить не о чем, они большие, я для них червячок, да ещё отстаю в развитии, но друг с другом, когда одни, могли бы и об интересном поговорить.

А то приходит к папе знакомый, они вместе в институте учились, сидят на кухне, и папа спрашивает: «В инженерной области есть ли сдвиги в положительном направлении?» Дядя Игорь, он инженер, как и папа, но папа – бывший... дядя Игорь долго молчит, должно быть, думает, потом отвечает: «В инженерной области в положительном направлении сдвиги есть». – «И какие же это сдвиги, если не тайна?» – смеётся папа. Я-то знаю: если папа смеётся, значит, он сейчас на Путина перейдёт. «Винт Завельского достиг совершенства», – отвечает ему папин знакомый. «Неужели?» – смеётся папа. «Вот, представь себе», – говорит знакомый. «Не представляю, – говорит папа. – Потому что при кровавом режиме совершенства может достигнуть только репрессивный аппарат вла-

сти». Они спорят, шумят, ругаются, пока не перейдут на футбол, но проходит немного времени – снова «Путин», и снова спорят.

Это когда мамы нет дома. Если мама дома, к папе никто не ходит, только дедушка бывает на выходных. Придёт на кухню, сядет со мной за стол, возьмёт ложку, опустит её в тарелку. «Едим поровну, – скажет с серьёзным видом. – Сначала ты свою половину ешь, пока я ложкой середину перегораживаю, потом меняемся, моя очередь». Шутка эта старая, как сам дедушка, но я молчу, чтобы его не обидеть. Не то умрёт, как бабушка, – от обиды, так она сама говорила, перед тем как умерла прошлым летом.

Когда дедушка приезжает на выходные или мы приезжаем к дедушке, если он не может или болеет, папа хмурится и отмалчивается в сторонке, пока мама и дедушка разговаривают. Компьютера у дедушки нет, только старый маленький телевизор, а каналы, которые смотрит дедушка, папа называет «пропутинскими». И в «Фейсбуке» при нём, при дедушке, тоже не очень-то посидишь. Но папа всё равно не выдерживает и лезет в свой ноутбук узнать, какую ещё «новую пакость устроили путинские сатрапы». Я не знаю, кто такие сатрапы, может, это папины акуаки, которые съедают людей или скармливают их акулам.

Иногда папа мне нравится. Это бывает редко – или когда папа приходит пьяный и делается похожим на Эйтыкто – помните, ну который ночью? – или когда папа рассказывает про лодку-контрку, которую однажды построит и уплывёт на этой лодке-контрке на какой-то остров свободы.

«На Кубу?» – мама его спросила.

«Сама ты Куба», – папа ответил маме и грозно расхохотался.

После они поссорились.

Я вижу, как мама терпит. Всё терпит – и папины уходы из дому, и «Путина» его, и футбол, и ссоры, которые он устраивает и которые выеденного яйца не стоят («О чём я могу говорить с человеком, который не читал Мураками!»). Так же мама терпела бабушку, когда та была живая, терпела и прощала ей всё, даже тот дикий случай, когда бабушка написала на бумажном клочке «На смерть бабки Веры» (бабушку звали Вера), подложила этот клочок в букет, который мама подарила бабушке в День Победы, и рассказывала потом знакомым, что это мама подложила записку, чтобы бабушка умерла скорее.

Единственное, чего мама не терпит, – это если папа бьёт меня тапком по голове, разозлившись на моё тупоумие. Он ещё говорит при этом, что я пошёл в её деревенский род и надо

меня отправить в деревню, откуда мама моя приехала. Только разве я виноват, что не знаю слова «коррупция»? Зато я знаю, как устроен арбуз, и умею слушать предметы.

Я на папу не обижаюсь, это папа не сам, это папе акуака подсказывает. Он живёт не в папиной книжке, его место за книжным шкафом, там, где старые обои отклеились, он приходит по ночам к папе, забирается через ухо в сон и хозяйничает в нём, будто у себя дома.

Акуака никого не боится, зато его боятся все вещи у нас в квартире. Он их портит, если вещи теряют страх, а некоторых убивает. Он убил мамину вазу, и теперь в ней умирает каждый третий цветок. Мама тогда очень пугается, она считает, что если в вазе число цветов чётное, то это к смерти, потому что только на похороны приносят по четыре цветка.

После той среды, когда они кричали на кухне, в четверг вечером, мы уже поужинали, папа с мамой разговаривали друг с другом. Меня не было, я в комнате рисовал вокзал, но прислушивался, мне было нужно.

«Говорили мне, что для женщины мужчина лишь средство», – слышу я, говорит папа.

«Кто говорил?» – это говорит мама.

«Есть кому говорить», – отвечает папа каким-то не своим голосом.

Я знаю, что говорит не он, это говорит акука. Я слышал, как в коридоре шелестели обои и этот вредный человечек прошёл на кухню, встал за папиной спиной и говорит голосом папы.

Я хотел пойти сказать, чтобы его не слушали, но на вокзале объявили как раз, что поезд Северогорск – Ковальск прибывает на третий путь. Я начал рисовать пассажиров и поэтому пропустил слова, которые они говорили после.

А ещё после приехал дедушка, и они с папой сначала спорили очень громко, а потом мама пришла ко мне и сидела молча, пока я рисовал дядьку с рыжим хвостом, как он стоит в очереди на двадцать седьмой троллейбус.

«В войну немцы убивали стариков и детей, – в это время говорил дедушка, – и писатель Эренбург придумал очень правильные слова: “Убей немца!” – и эти его слова были развешаны по всей стране на плакатах. А сейчас идёт другая война, и эти ваши, которые вас науськивают, уничтожают страну, её будущее, русский мир наш уничтожают. Отменить бы всю вашу демократию да посадить ваших уродов на кол».

«Ты фашист! – кричит ему папа. – Все, кто за смертную казнь, – фашисты».

«Я фашист, – спокойно говорит ему дедушка. – Только я тот фашист, который бил фашистов под Ленинградом».

Потом мама спросила меня про хвост. Я сказал, что дяденька едет с ёлки, на которой лисой работал, и забыл его отстегнуть. Это чтобы мама не волновалась. Ведь на самом деле хвост настоящий. Вон он как висит и поддёргивается.

Папа убежал в свой «Фейсбук», а дедушка пришёл в мою комнату и стал рассказывать про свой «Скороход», где он работал в мотоциклетной лаборатории. Он про это всегда рассказывает. Про то, как он сдавал экзамен ботинку – как во время специального пешеходного перехода из Ленинграда в Москву он возглавлял обувную лабораторию, наблюдал за состоянием ботинка, какие части – подошва или каблук – больше изнашиваются. Лаборатория находилась на мотоцикле, которым управлял дедушка. Это ещё до войны было.

Мне его рассказ нравится. Дедушка знает об этом, потому он и рассказывает его так часто.

Дедушка ушёл спать, мама тоже ушла из комнаты, папа мыл на кухне посуду.

Я послушал, как кашляет акуака, он всегда кашляет, когда прячется у себя под обоями, подошёл к зеркалу, растянул рот и стал похож на полинезийца. Завтра я уйду из дому.

Я знаю, почему они ссорятся. Это из-за меня. Я в нашем доме лишний. Это мне сказал акуака. Я подумал и решил, что он прав.

И я знаю, куда уйду. Он мне это тоже сказал.

Перед сном я читаю сказки. Последнюю прочитал такую: в неизвестном городе в неизвестном доме жила с сыном одна старушка. Сына она прокляла, потом он провалился сквозь землю и нашёл там кошелёк и лопату. Начал он рыть вверх и вырылся на свет божий. Вышел из-под земли, пошёл к дому. Вошёл в квартиру, маму свою увидел и говорит: «Здравствуй, мама». Мама его снова влюбила, и больше они никогда не ссорились.

Я тоже очень-очень хочу когда-нибудь провалиться сквозь землю. Найти лопату, кошелёк мне не надо, выйти из-под земли, и чтобы мама снова меня влюбила. И чтобы папа на неё не кричал. И чтобы табаком не воняло.

Завтра была пятница, я видел в календаре.

Ушёл папа, мама ушла, дедушка молчал в туалете.

Я тихонечко надел куртку, тихонечко отворил дверь, тихонечко её затворил.

Улица.

Я хорошо чувствую направление. Если я где-то прошёл однажды, я пройду тем же путём уже без всяких взрослых. Я знаю стороны света, я вижу, как идёт солнце, и, если даже его не видно, я вижу его движение. Когда мы гуляем с мамой – с папой мы почти не гуляем, – я присма-

триваюсь к месту и небу. Но в городе мы гуляем редко. Были один раз с мамой в музей, видели там мёртвого мамонтёнка, и я сказал маме, что у меня ухо болит.

Улица у нас небольшая. Два дома, длинный и покороче, пока идёшь от дома и до метро. В метро я прошёл спокойно. Тётенька за стеклом кабины подумала, что я с бабушкой, а эта бабушка была не моя, моя бабушка уже умерла, я просто пристроился за чужой спиной и шёл с бабушкой до самого эскалатора.

Я доехал до «Сенной площади», поднялся наверх и вышел.

Мне – налево, в сторону облаков, медленно плывущих по небу. Мы с мамой туда ходили, маме нужно было встретиться с одной тётёй, забрать у неё лекарство. Это когда моя бабушка ещё не была мёртвая.

Город здесь не такой, как мой. Мой простой, дома обыкновенные, одинаковые, как зубы в дедушкином стакане.

Здесь не так, здесь каждый дом себе на уме – вон стоит с какими-то чудищами, сторожит окошки с горшками. Или вон, в саду, за решёткой, – то ли злится, то ли показывает язык.

Я иду по улице, она медленная. Называется Садовая, здесь есть сад. Мне не надо заходить в сад, я иду по уличному коридору, на зелёный

перехожу перекрёсток, иду дальше в сторону колокольни.

Вверху плещется вода, это небо. Вода светлая, с прожелтнями и синью. Чайки бегают от облака к облаку, с ними бегают их острые тени. Я смотрю на город глазами чайки, вижу, как изменчивая вода, не небесная, а та, что внизу, подмывает городскую основу. Вижу... нет, не скажу, не вижу.

– Эй, дебил, сыграй на губе, – говорит мне человек без ног. Вместо ног у него доска с колёсиками и подушкой из ваты.

Я играю. Он говорит:

– Ты – талант. Будешь со мной работать.

Человечек хочет меня схватить, но я увёртываюсь, и он отстаёт. Вдруг я вижу, его доска едет прямо на трамвайные рельсы. Я хочу закричать, но поздно – визг и гром, я прибавляю шаг.

– Ночь дурацкая! Спать не хочу! Луну с неба сниму, зажарю и съем! – говорит мне ещё один человек, с ногами.

Я ему говорю, что день, но он спорит, утверждает, что ночь, я ему говорю: «Глядите» – и показываю на синь и прожелтня, а он спорит, хватается меня за шею, я отталкиваю его рукой, и человек с ногами ударяется головой о камень. Он лежит, а я иду дальше, к тому месту, про которое сказал акуака.

Я иду не один. У меня в кармане в мешочке, в свёрточке, в камешке черноморском в крапинку, в левом его овале, мамина душа спрятана. Та, которая у неё болит. Я её специально унёс, пусть болит у меня в кармане.

За мостом, за церковью с колокольней, начинаются глухие места. У меня здесь будто слух отключили. Я пытаюсь послушать камень, приближаю ухо к стене, но оно ничего не слышит. Деревья здесь тоже глухонемые, мычат непонятно что и тянутся к горлу ветками.

– Эй, ты – ты-ты-ты, – говорит мне лиловый дядька. – Дай немного мелочишки на молочишко.

Я вытаскиваю монету с нулём, из нуля смотрит белый глаз, «отдай ему меня», говорит.

Я отдал, лиловый дядька смеётся.

– Что же, добрая душа, – говорит, – не нашлось монетки поменьше? Ну-ка, ну-ка, подойди-ка поближе, покажи-ка, что в твоей голове.

– У меня в голове церковь, – отвечаю я лиловому дядьке.

Он хватает меня за голову, с неба падает усталая чайка прямо этому лиловому в капюшон – капюшон у него откинут, – дядька падает спиной на асфальт.

Я иду по улице дальше. Обхожу люк, он открыт, из него ко мне протягивается рука. Со

мною такое однажды было. Так же протянулась рука и хотела утащить в люк и, если бы не подошла мама, наверняка бы утащила меня под землю. Мамы сегодня нет, есть мамина душа, но она в кармане, болит тихо в камешке черноморском.

– Ты не Федя? – спрашивает рука. – А то знала я одного Федю. Хороший парень был, краснощёкий, помер. От горчичников, сгорел заживо. А родителей потом посадили. Бабка с дедом утопились в колодце. А собаку раздавил трактор.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА